

Отчаянная осень

Автор:

Галина Щербакова

Отчаянная осень

Галина Николаевна Щербакова

Любовь – вот что главное в этой повести. В центре сюжета – две пары молодых людей, старшеклассников, захваченных всепобеждающим чувством. Влюбленность, надежда, обида, ревность, озлобленность, равнодушие, отчужденность – целая буря чувств одолевает душу каждого юного героя. Но они не замкнуты только в сфере собственных переживаний, они наблюдают, анализируют поступки взрослых, оправдывают или осуждают их. Подчас запутанны отношения ребят с родителями (у троих из четверых главных героев – неполные семьи), с учителями. Все это превращает начало учебного года в пронзительную по остроте ощущений «отчаянную осень».

Галина Щербакова

Отчаянная осень

© Текст. Г. Н. Щербакова, наследники, 2021

© Агентство ФТМ, Лтд., 2021

* * *

Шурка с отвращением посмотрела на свое форменное платье. После девятого класса, уверенная, что больше его не надевать, она устроила форме экзекуцию. Бросив на пол, она потоптала ее ногами, зацепив носком, повозила по самым грязным углам коридора, потом повесила за подол в чулане и так и оставила висеть, бедную, вниз рукавами. Недели через две скомканная форма была заброшена на антресоли, в самый угол, за старые игрушки, в компанию к облезшей, старенькой, еще детсадовской шубке. Теперь же, вытащив форму при помощи лыжной палки, Шурка размышляла, каким способом это уродище можно привести в состояние, пригодное для прохождения службы. Она положила форму в тазик, щедро посыпала сверху «Лотосом» и, будто пытая, стала обливать ее кипятком. Форма шипела, истекая чернотой, брезгливо пучилась белоснежная пена, запахло пылью, чернилами, и как-то странно и неожиданно ушло отвращение к бедняге форме, оставив в сердце Шурки печаль и разочарование. И она полила платье холодной водой, как бы спасая от пыток.

Позавчера директор их школы, старенькая Анна Семеновна, в просторечии «баушка», обрадовалась, когда Шурка принесла назад документы.

– Умница, деточка, умница! – щебетала она, угощая дыней.

Она была не права, «баушка», в этой своей радости. И самое главное – сама это знала. Шурке надо было уходить из школы и получать профессию, чтоб стать на ноги. Кто ж знал, что в этом году будет такой конкурс в полиграфический техникум? Она недобрала баллов, хотя сдала все без троек. Правда, она и не переутомила себя подготовкой, чего там врать... Думала, и так пройдет. Мать была счастлива ее неудачей, она хотела, чтоб Шурка окончила десятилетку. Как все. Именно радость матери побудила Шурку пойти в ПТУ. Но и тут оказалось не судьба. Шурке оставалось только строительное, значит, профессия отца. И сразу вспомнился суд, отец на скамье, какой он был маленький и жалкий за барьером. Очки у него сползали с носа, кто-то даже сказал: «Жулик! Соплей перешибешь!» И было в этом восклицании какое-то почтение к образу жулика, сильного, крепкого, которого нельзя перешибить соплей, а Шуркин отец был жулик неправильный, разрушающий устойчивый образ. Отец, собственно, и был таким – неправильным. Он работал прорабом, строителем. Вот от этого и шло Шуркино отвращение к профессии. Люди говорили, что отец «сел за других». И хоть документы следствия не вызывали сомнения в его личной вине, слова «сел за

других» беспокоили. Шурка сама провела свое дознание, и оно сложным не было. Не вызвала, к примеру, сомнения «дружеская помощь», которой окружили их с матерью отцовы товарищи по работе, которых раньше они в глаза не видели.

– Не бери! – кричала Шурка, когда, оставив матери увесистые конверты, «товарищи» уезжали.

– Еще чего! – отвечала мать. – Золотой унитаз они нам с тобой поставят, и мало с них будет!

Отец отбывал срок, работая по специальности в соседней области. Мать к нему ездила. В эти дни он жил с ней в гостинице. Они ходили в театры, кино. Ездила к нему и Шурка. Гуляли вместе по набережной, и он просил ее быть сильной в этой жизни.

– А ты слабый? – спрашивала Шурка.

– В общем, да, – отвечал отец. И добавлял со злостью: – Да, черт побери! Да. Слабак я у тебя, слабак... А может, и трус...

Шурке было и жалко его, и противно, было в ней и сомнение в искренности его слов. Так ли уж он труслив и слаб, как внушает ей? Может, ему кажется, что быть трусливым лучше, чем быть, к примеру, подлым? И у него существует какая-то своя градация добра и зла? И ее отцу почему-то выгоднее выглядеть слабаком? Если это так, то ее ничто впредь не может с отцом связывать. Она готова ему простить вину, ошибку, заблуждение, но простить такую позицию?.. Шурка находилась в процессе изучения этого вопроса и подвинулась в нем настолько, что никакой мысли о любой строительной специальности допустить для себя не могла.

И теперь вот, отвергнутая полиграфическим техникумом и отвергнувшая строительное ПТУ, Шурка сушила форму на балконе, вспоминала ласковую «баушку» и думала, что год – приличный срок, дабы сообразить, что ей делать потом со своими руками и головой. К какому делу их приставить. Потом она взяла сумку с портретом Адриано Челентано и пошла в магазин «Школьник» покупать всякие там принадлежности.

Странно это все-таки выглядело... В Одессе он казался себе обычным, вчерашним... Даже когда ему дали эти новые, модные очки, и мама ахнула, и кинулась врачу на грудь, и стала целовать ему отвороты халата, а он, Мишка, вдруг испугался, что она будет целовать врачу руки... Даже тогда он был еще вчерашний. Мама же вдруг стала так плакать, что ее пришлось обнимать, как маленькую. И тут Мишка вдруг увидел и почувствовал, какая она маленькая на самом деле, и отвороты она целовала просто потому, что выше, до щеки, ей было не дотянуться. И теперь они с врачом обнимали ее, можно сказать, со всех сторон, а она хлюпала носом, бормотала какие-то глупости, а врач хлопнул Мишку по плечу и сказал:

- Я горжусь тобой, парень!

Так вот там, в Одессе, ощущение, что он стал какой-то другой, было все-таки неполным. А сейчас, идя с мамой в магазин «Школьник», он обратил внимание, что первые этажи домов будто бы стали ниже. Широкий подоконник витрины «Школьника», на котором любила сидеть очередь и столько раз сживал он сам, был так невероятно низок, что представить себя сидящим на нем было просто невозможно. Корзинка же для самообслуживания, которой он всегда стеснялся, потому что она казалась громадной, неудобной и нелепой, поместилась в руке легко и невесомо... А потом вдруг заметил, что он здесь, в очереди, выше и больше всех, выше полок с тетрадями и дневниками, и видит всех входящих и выходящих, и не способен потеряться, как боялся потеряться еще два года тому назад. Вот в магазин вошла Шурка Одинцова с выражением тоски и скуки.

- Там Шурка, - кивнул он маме.

- Где? Где? - заинтересовалась мама, но она была ниже полок с тетрадями, поэтому видеть Шурку по другую сторону не могла.

Они дождались, когда, набросав в корзину разные разности, девочка пошла к выходу, а значит, к ним; они смотрели на нее и улыбались, но она прошла мимо, «не повернув головы кочан». Так сказал Мишка маме, потому что заметил: мама на Шурку обиделась.

- Эй ты! - сердито крикнул Мишка. - Порядочные люди здороваются.

Шурка посмотрела на него, чуть сдвинула брови и отвернулась, но, отвернувшись, уперлась глазами в его маму и вся пошла ямочками, потому что, будучи девочкой совершенно обыкновенной, улыбалась она как никто. И теперь, узнав маму, она снова повернулась к Мишке, рот у нее открылся, как у ребенка, брови стали домиком, и она не сказала, не произнесла, а как-то выдохнула из себя:

- Ты, что ли, Мишка?

Вот этих слов, этого потрясения мама, оказывается, и ждала.

- Правда изменился, правда? - требовала она подтверждения у Шурки. - Правда великан?

Шурка смотрела как зачарованная.

...В первом классе их посадили вместе на первую парту как самых ярких задохликов. Учительница на перемене ставила их возле своего колена и загораживала журналом, чтоб их случайно не смяли и не раздавили нормальные дети.

У Мишки была страшная миопия, в просторечии близорукость, осложненная какими-то побочными явлениями. Он носил такие толстые очки, что сквозь них незаметны были его глаза, вместо них все видели какие-то переливающиеся разными цветами линзы, и линзы доминировали в облике Мишки. Его так и называли «малыш в линзах». Все остальное у них было, как у близнецов, которых с трудом откачали: тоненькие ручки, ножки, шейки; висящая, как на палке, форма самого маленького размера. И младенчески мягкие коротенькие беленькие волосы, на которых у Шурки бант не держался. «Какая прелестная поганочка! - называла Шурку их соседка по дому. - Но ты не страдай, - утешала она. - Запомни самую красивую сейчас девочку и посмотри, какой она станет уродкой лет через семь, восемь... Ты же, поганочка, расцветешь...»

Так они и учились - Шурка и Мишка, прикрытые школьным журналом поганочка и малыш в линзах.

Плохо стало в четвертом классе, когда у них появилось много учителей. Никаких благотворных изменений в их облике тогда еще и не намечалось, и, освобожденные от защиты прежней учительницы, они стали предметом шуток и насмешек. Над ними легко было издеваться.

А потом, после четвертого, Шурка вдруг вытянулась да, мало того, потолстела. Как-то так враз из большого ей тридцатого размера перемахнула едва ли не в тридцать шестой. Мать тогда даже испугалась, повела ее к врачу. И врач тоже испугалась, сверив все данные о росте и весе за прошлый год, и отправила Шурку к эндокринологу. Тот жал ей горло и под мышками, щекотал за ушами, а потом сказал: «Очень хорошая, пропорциональная девочка, которая догнала самое себя». И все.

В пятом классе, поколотив для начала самого большого своего обидчика, повесив карту на гвоздик, до которого дотягивались только самые высокие, Шурка отсела от малыша в линзах. Она рвала с прошлым решительно, бесповоротно, она поставила на нем крест в виде повязки санитаря, и теперь никто, ну ни один человек не мог пройти сквозь нее, если представление о чистоте у него не соответствовало Шуркиным представлениям. Поганочка отомстила всем. Только Мишке не доставалось от нее. И не почему-либо... Шурка его тогда презирала, невыросшего... Она им брезговала.

А теперь они стояли возле магазина, и Шурка пялилась на Мишку с таким восторгом, что он даже засмутился.

– Да брось ты! – сказал он. – Это очки. Итальянские.

Очки у него действительно были красивые, модные, но не в этом дело, они были нормальные очки! Все эти годы мама возила его в Одессу, в Филатовский институт, и там его глаза лечили. Каждый год линзы становились все тоньше и тоньше, но этого никто не замечал, потому что никто не замечал его вообще. Ну дышит рядом мальчик-задохлик-очкарик, пусть дышит, не жалко. А уж обращать внимание на утончающиеся линзы...

– Вы гуляйте, а я побегу, – сказала Мишкина мама и пошла. А сама, завернув за угол, остановилась и стала смотреть на них. Вот какой у нее стал сын! И девчоночка выровнялась. Они теперь снова похожи, как в первом классе. Рослые, стройные, белокурые, и завиток на волосах у них легкий, красивый...

Мишкину маму звали Марина. Ей было тридцать восемь лет, по образованию она была архитектор и когда-то считалась самой красивой девушкой в институте. Женщине, которая стояла за углом, по нынешним временам можно было дать все пятьдесят. И работала она в регистратуре поликлиники. Ее давно все звали тетя Марина, она носила мальчишковую обувь – до десяти! – летом и войлочные сапоги – до пятнадцати! – зимой. У нее были синий костюм Косиновской фабрики за сорок два рубля на все случаи жизни, пальто, купленное в комиссионке на рынке, и вязаная шапочка, которую она с трудом сварганила сама, потому что, как выяснилось, вязание давалось ей плохо. Она путалась в счете, спицы у нее почему-то гнулись, ломались, и она начинала нервничать вопреки принятой теории, будто за вязанием всегда успокаиваешься.

Марина смотрела вслед Мишке, и странное удивление наполняло ее сердце. Неужели этот рослый и красивый мальчик – ее сын? Неужели возможно, чтоб так все случилось? Неужели в ее неудачной по всем параметрам жизни могло случиться счастье? Что бы она ни делала для сына – он ведь родился едва живой, и потом на него посыпались одна за другой напасти, он сколько дома жил, столько и в больнице, – так вот, что бы она ни делала, она не верила, что он выкарабкается. Теперь можно самой себе в этом признаться.

Обычно говорят так: но мать верила. Это сказано не про нее. Она не верила. Выслушивая диагнозы о его больном сердце, о плохом желудке, о расстроенной нервной системе, о зрении, которое едва ли улучшится, она думала только о том, что, не дай бог, он один останется, не дай бог, с ней раньше, чем с ним, это случится. Он ведь никому не нужен. Отец его ушел из семьи, когда Мишке было полтора года, он даже сидел еще плохо. Она тогда испытала странное чувство облегчения. Потому что было ясно: ей невозможно иметь сразу две любви и заботы. Ей стыдно обнимать мужа, когда в полуметре от нее едва дышал ребенок, и каждый раз она боялась, что она слышит его последний вздох. Жизнь с мужем так или иначе требовала соблюдения законов дружбы с другими. Законов связей. Молодые архитекторы мечтали тогда построить город-спутник, они приносили к ним в комнату листы ватмана и крепили их к стене, а она все боялась, что, не дай бог, кнопка попадет в детскую кроватку.

Не нужен ей был ни город-спутник, ни все их разговоры о преимуществе бетона перед кирпичом и об универсальности дерева, о возможностях пластика и перспективности вертикальных городов. Другая жена, может, когда поскандалила бы, когда выгнала бы эту горластую компанию, она же терпела,

мучилась и хотела только одного: остаться с сыном вдвоем любой ценой. Ведь он у нее – сын – ненадолго. Вот будет бетон, пластик, стекло и дерево, а мальчика ее не будет, он не жилец этих городов! Поэтому, когда обиженный ее невниманием, оскорбленный ее неприбранностью, возмущенный равнодушием к «его проблемам» муж ушел, она испытала облегчение. И ни один человек ее не понял. Ей присылала деньги мама. Геолог-мама в резиновых сапогах продолжала мерить страну и в свои пятьдесят лет. Она щедро присылала деньги дочери, но понять ее не могла. Как это махнуть рукой на профессию, на себя, на людей?

Марина устроилась на работу в детский сад, куда определила сына, потом в регистратуру поликлиники, которая рядом со школой. Мама уже умерла. Но Марина давно привыкла жить более чем скромно. Муж присылал алименты. Они все полностью шли на летние поездки в Одессу. Вряд ли бы мать, верящая, убежденная в своей победе, помогла бы ребенку больше, чем она, Марина, убежденная в недолговечности своего материнства. Но она делала не просто много, а все. Все, что можно сделать вообще. И если бы ей сказали, что самый главный специалист, который ей нужен, живет где-нибудь на Филиппинах, она поехала бы туда, попробуй ее останови!

Но в состоянии Мишеньки не было тайны, которую могли бы разгадать филиппинцы. Он был слабый, плохо видящий мальчик, с осложненной наследственностью. Чьей? Муж сказал: «Твоей!» У него уже росли двое здоровущих мальчишек, Марина ходила на них смотреть. Пышущие здоровьем, горластые, рыжие, они всем своим видом демонстрировали высокое качество приобретенной наследственности. Только однажды старый педиатр, из тех, кто для диагноза отворачивал веки и так определял количество гемоглобина в крови, сказал ей: «Знаете, в конце концов мальчик перерастет». Он сказал это в момент, когда у Мишеньки было сразу несколько тяжелых болезней, он был весь истыкан иголками и она держала его на горшке, потому что Мишенька падал с него. В это ненаучное «перерастет» она тогда не поверила.

И только теперь, стоя за углом, она вдруг осознала, что именно это и произошло: веселый, уходящий с девушкой юноша – ее сын! И сейчас, вот с этого места, с этой секунды, началась совсем новая жизнь. Но Марина понятия не имеет, как ей в этой жизни быть.

Мишкина мама задумчиво пошла в регистратуру и стала, как обычно, ловко и спокойно находить чужие истории болезни и внимательно выслушивать всех, кто возникал перед ней в окошке, и никто не заметил в ее поведении ничего

необычного, только она сама знала: началась какая-то новая жизнь. Со здоровым сыном. Вот ведь какая штука... Он перерос.

– Тетя Марина! – сказала ей врач-невропатолог, тридцати пяти лет. – Купите мне молока, я вижу из окошка, его только что завезли.

Она пошла, но все уже имело другое значение и смысл. Почему она тетя Марина? Почему она покорно идет за молоком? Почему у нее никогда, никогда не было вот таких высоких босоножек без задников, на которых идет впереди нее совсем не юная женщина? И Марина поднялась на носки, чтобы почувствовать себя выше, и засмеялась себе самой и пошла так, на цыпочках, а со стройки ей крикнули: «Эй, девушка, танцуй к нам!» Ее уже сто лет не называли девушкой. Ее уже сто лет называли тетя и мамаша.

Молоко врачу-невропатологу принесла молодая раздумавшаяся женщина, с веселой улыбкой.

Врач посмотрела на нее и не узнала тетю Марину. Только когда та закрывала за собой дверь, она сообразила, кто это, глядя на ее копейные тапочки.

– Тетя Марина? Это ты? А? Спасибо, спасибо! Большое спасибо!

И больше ничего не сказала врач-невропатолог. Смотрела на пакеты с молоком и думала.

На приеме у нее сегодня были одни женщины. Собственно, если быть точной, это была одна, Единая Женщина, с повисшими плечами, тусклыми глазами, сбегаящими вниз уголками губ. У женщины на пальцах непроходящие рубцы от ручек тяжелой авоськи, лак на ногтях намазан без маникюра, волосы седые у корней... Она плохо спит, эта женщина, она постоянно глухо раздражена, у нее давно, уже много лет, тупо болит голова, временами ей хочется плакать, но ведь – слава богу! – все у нее живы-здоровы! У нее повышенно-пониженное давление и постоянная мечта о пенсии, до которой еще – о-го-го! – сколько лет.

Врач-невропатолог сама вполне могла записаться к себе на прием. Она вполне бы соответствовала этой Единой Женщине, и она не понимает, не может понять бездумную радость тети Марины, потому что ни на что бездумное у нее нет ни сил, ни времени, ни образования.

Чему может радоваться эта несчастная тетя Марина? Воистину, хорошо быть блаженным. Полунищая ведь, сын больной, а сияет, как майское солнце. Так, что ли, говорят?

Врач-невропатолог много чего подумала в тот день о Марине. Она была неважным врачом, неважным человеком, и у нее была точно соответствующая этому неважная жизнь.

Но разве люди признают справедливым такое соответствие? Поэтому врач сердилась на всех улыбающихся и счастливых, считая их ворами счастья, которое по праву должно принадлежать если не ей, то другим, достойным. Правда, на Единую Женщину, которой была частично и сама, она сердилась тоже, потому что тоже считала ее воров. Ведь она забирала у нее на приеме время, бесконечно нужное ей самой...

В такие вот минуты врач-невропатолог всегда думала о своей соседке по квартире, завуче школы Оксане Михайловне. Она думала о том, что эта старая дева никогда не обращалась к ней за помощью, а она всему их дому достает то элениум, то седуксен, то черта лысого. Этой же – никогда. Может, все дело в отсутствии в жизни мужчины? Вот и у тети Марины его нет, а смеется как ребенок. Идея казалась плодотворной, и врачу было интересно ее разрабатывать, ведя машинальный прием.

...А Мишка и Шурка были весьма довольны друг другом. Они говорили обо всем сразу – о школе и новой песне Аллы Пугачевой, о проходном балле в вуз и телепатии. За незначащими словами возникала из прошлого дружба, что родилась за школьным журналом, которым их защищала первая учительница. И каждый из них с нежностью вспомнил синюю узкую юбку учительницы, и широкий свитер с толстыми торчащими нитями, и голос высокий, насмешливо-строгий, их охраняющий:

– Ну куда ты? Ну куда? Видишь, это я стою? Сквозь меня хочешь пробежать? Нельзя, дорогой, нельзя.

Они делились яблоками, они хихикали, даже озоровали, выдергивая нитки из свитера учительницы, но этого никто не знал, даже сама учительница, настолько тихой по сравнению с окружающей средой была их жизнь на школьных переменах. И сейчас это все проявилось, как будто подержали над

теплом листок, исписанный симпатическими чернилами.

И Шурка теперь подумала: «Хорошо, что я иду в десятый класс».

И Мишка подумал: «Здорово, что мы с ней сейчас встретились, хоть один человек не будет первого сентября закатывать глаза от удивления». И еще он подумал: «Неужели на самом деле я так изменился?!»

Они шли и смеялись, а навстречу им брела Ира Полякова.

Ира была той самой девочкой, резкого ухудшения которой Шурка ждала с первого класса. Помните слова Шуркиной соседки: «Запомни самую красивую сейчас девчонку и посмотри, какой она станет уродкой!»

Шурка не дождалась этого светлого часа. Потому что Ира Полякова обладала удивительным качеством: она оставалась самой красивой девочкой во все периоды своей жизни. Она была самой хорошенькой девочкой в детском саду, одновременно занимая первое место по красоте в районной детской поликлинике. Она была лучшей первоклассницей города, а посему признанным доставальщиком лотерейных шаров. Но вопреки всему этому Ира оставалась хорошей, доброй, «подельчивой», как говорила ее мама, девочкой, имея в виду, что дочка охотно делилась даже «дефицитом», не считаясь с особенностями его доставания.

Она здоровалась первая со всеми, давала списывать домашние и контрольные работы, была приветлива, добродушна и представляла собой такое редкое сочетание добродетелей, что люди, которых она в этих самых добродетелях очень опередила, с нетерпением ждали: когда ж она устанет быть такой хорошей? Должна же, в конце концов, она почувствовать бремя одних только превосходных качеств?

Когда Шурка убедилась, что тезис соседки о законе превращений в этом случае не подтвердился, она вывела из этого свой закон. Сущность его была такова: неменяющийся человек подобен дереву, лишенному возможности передвигаться. Как бы ни торжествовало дерево цветами, листьями, плодами, как бы ни размахивало ветками – увидеть, что там, за поворотом, ему не дано. А меняющийся человек способен это познать, потому что он встал и пошел себе,

куда ему надо и даже не надо. Теория подлежала дальнейшей разработке, потому что беспокоил вопрос о корнях, которые у дерева есть... Это же неплохо – корни? Но у зайца корней нет, мотается по чисту полю... Заяц все-таки лучше?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.me/galina-scherbakova/otchayannaya-osen-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)